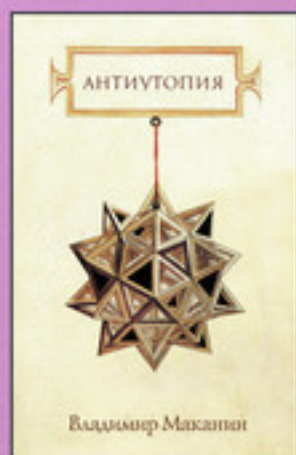


Владимир Маканин

# Буква «А»



*Часть сборника  
Антиутопия (сборник)*



Владимир Маканин

**Буква «А»**

«ЭКСМО»

2000

## **Маканин В. С.**

Буква «А» / В. С. Маканин — «Эксмо», 2000

«В тот августовский день зек Афонцев за обедом обнаружил в своей миске кусок говядины. (Наткнувшись на него ложкой.) Кусок небольшой, плоский. Был нарезан с явной экономией, и все же ложка Афонцева дрогнула, сама себе не поверив. Ложка замерла. А кругом, тем слышнее, стоял звенящий шум. Лязг, какой издают обычно полста алюминиевых ложек в полста алюминиевых мисках. Как не полязгать! Мясо обнаружил каждый. За общим дощатым выскобленным столом. В первых числах августа... В тот самый день, когда буква на скале стала читаться...»

© Маканин В. С., 2000

© Эксмо, 2000

# Содержание

1	5
2	9
Конец ознакомительного фрагмента.	13

# Владимир Маканин

## Буква «А»

### Повесть

– Какие слова начинаются на «а»? – спросил активист.

Одна счастливая девушка... ответила со всей быстротой и бодростью своего разума:

– Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист!

**А. Платонов. Котлован**

## 1

В тот августовский день зек Афонцев за обедом обнаружил в своей миске кусок говядины. (Наткнувшись на него ложкой.) Кусок небольшой, плоский. Был нарезан с явной экономией, и все же ложка Афонцева дрогнула, сама себе не поверив. Ложка замерла. А кругом, тем слышнее, стоял звенящий шум. Лязг, какой издают обычно полста алюминиевых ложек в полста алюминиевых мисках. Как не полязгать! Мясо обнаружил каждый. За общим дощатым выскобленным столом. В первых числах августа... В тот самый день, когда буква на скале стала читаться.

В тот же вечер старый грязный зек Ключня вышел из барака. Вышел просто так. Остановился. Однако дальше чем сойти с крыльца не разрешалось (без спросу у постового солдата). Зек тупо и долго смотрел на алый закат. Можно сказать, он смотрел на запад из самой глубинки. Смотрел из сибирской тайги в географическую сторону Уральского хребта, бесконечно далекого отсюда. Смотрел и шевелил ноздрями. Внюхивался. Желтый лицом (и с оторванным левым ухом) Ключня произнес тогда два слова, услышанные и постовым, и зеками:

– Это она.

Ключня имел в виду волю. Ту самую, которой век не видать. Говорил про волю, а смотрел на букву. Буква уже с перекладинкой, готовая. Лишь передняя нога не вполне закончена. Буква «А» чуть хромала. А Ключня шевелил ноздрями и улыбался. В отличие от Коняева, как сочли зеки, он был *спятивший тихо*.

Но только уткнулись по-настоящему в вонь одеял, как Конь заорал. Этот тронутый не давал заснуть – снова и снова фамилии! Среди ночи!.. Ни одного мертвяка не забыл. Уйгура вспомнил. Переключка с того света, мать его! Повторялось уже третью ночь. По несколько раз...

– Аввакумов!.. Арье!.. Бугаев!..

Все повскакивали. Тяжелые, сонные, с выпученными глазами. С ухающим сердцем. Ударившиеся башкой со сна и злые. Сейчас тебя прикончим! Втемную! Нам света не надо!

– ...Заикин!.. Зубарев! – продолжал орать тот.

Охрана вошла в барак, грозно зырякая и матюкаясь. Коняев смолк... Охранник, по прозвищу Штырь, поднял руку. Знакомый всем кулак:

– А ну на нары! Спать, падлы, щас собак впушу. Щас яйца пооткусят!

Зеки небыстро полезли на нары. Кто-то нервно и нарочито долго встряхивал вонючим одеялом. Зек Филя во всеуслышанье грозил гвоздем. Ржавым большим гвоздем. Потрясал. Мол, темная темной, а он теперь будет спать лежа на спине и сам учинит Коню расправу – ему один хер, пахан или не пахан!..

Охрана ушла. Уснули. Зек Филя-Филимон тоже спал. Но не на спине, а скрючившись, с зажатым в кулаке гвоздем, чтобы проснуться и с маху всадить в глотку, как только среди ночи этот тронутый опять завопит: «Аввакумов!.. Арье!.. Бугаев!.. Буражников!» Плевать, вожак или не вожак. Список Филя ему докричать не даст. На Р-рр-абиновиче он его прикончит! Век без воли!

Возможно, вырубленная на скале «А» стала давить на старого Коняева. С того же дня... Давила на его глаза. На мозги. На дряхлевшую душу. Коняев, вожак барака-один, не мог ночью как следует уснуть. Не мог спать. Все время видел эту громадную букву. Он вскрикивал. Ее раскоряченные огромные ноги... Ее треугольная акулья голова.

Зеки окрысились, ему не веря. Считали, что ночной переклик мертвых нужен сейчас Коняеву. Базар нужен ему самому – его сдохшему авторитету. Стоило появиться букве (всего-то первой), вожак уже заважничал. Хотел отметить, старый мудак! Вожаки тщеславны, их паханская одурь известна. Но ночами надо спать. И не хера из-за своих сладких мыслишек подставлять всех других.

Это ж с ума сойти!.. Негоже хоронить безымянно. Негоже, мол, в общей яме. И все в таком духе. Нужны отныне таблички для мертвых. Смерть, мол, и подсказала ему, Коню, первый шаг. Смерть подсказала жизни.

Понятно, что здесь назревала уже некая общая мыслишка. Возможно, такие, как Конь, вдруг спятившие, чувят, куда ветер, – тогда это и впрямь мог быть шаг в правовое поле. Первый шаг-шажок. Но зеки-то понимать окоlesiцу не могли. И не хотели. (Мы и слов таких тогда не знали.) В каком-то смысле слово, выбиваемое на камне, будет как их посмертная надпись. А скала – как их общая могильная табличка? И на века. Без имен. Без дат... Вот что, должно быть, померещилось старому Коню. Безликая величественность его напугала. И вот он про таблички и могилки... могилки!.. могилки!

Сначала зеки думали, что туфта. Что заморочка. И что Конь собирается под это дело выбить у начлага в будущем какую-то для зека жрачку. Еду. Таблички – как талоны. И каша в котле через край... Но какая жрачка, какая еда, если он кричал про то время, когда тебя уже засыпят землей. Надо не надо, старый мудак требовал не каши и не картошки, а поименные могильные холмики – мол, ждет каждый! Зеки не знали, что и подумать. Казалось, этот тронутый предлагал делить кладбище уже сейчас. Скорей, скорей. Не прозевать бы! Землицу-то!..

А тут еще побег. В те же дни... Оказалось, Ваня Сергеев... Вдвоем... С ним Енька Шитов, хилый пидар-туберкулезник. Этот бежать ну никак не мог. Он и к насыпи, на работу, еле-еле шагал... А Ваня слупил. (Не оговорит ли теперь кого Енька? Не переложит ли пидар на зеков вину за побег?..) Ваню застрелили. То ли при поимке его забили. Так измудохали, что уже в тайге помер.

Разве что сам начлаг нуждался в таком побеге. В том, чтобы время от времени кто-то уходил в тайгу. Чтобы исчез там не более чем на денек-два. Это бы не в учет. Бодрит охрану, а собакам дает всласть порыскать, побегать, ловя ветер в глаза.

Шли на работу, соединившись с бараком-два. Побег? Неужели?.. Обменивались слухами: вы нам, мы вам. Шкандыбали. Колонна доходяг. То упадет кто, то выбьется из строя. Кто-нибудь непременно хотел на ходу помочиться. Охрана и собаки тоже нервничали, но пока не ярились. Афонцев приотставал, перешнуровывал жуткие битые ботинки. Горячился, передавая на ходу новости (а что-то узнавая сам). Енька пойман, кашляет в «лазарете»... Козлик внушал Афонцеву опасение – надо бы бочком-шажком к нему пробраться. И поддержать. (Хоть бы через фельдшера.) Дать знать, чтоб не скис совсем и не ссучился. Чтоб молчал.

Струнин – вожак барака-два – бросил вполголоса:

– Вот ты, Афонцев, и пробейся к пидару.

– Чего это – я?

– Ты ж с ним в дружках.

Афонцев от неожиданности не отспорил, смолчал. Не был он дружкой с Енькой... раз как-то побить не дал. Охрана себе в угоду прикармливала Еньку, жалкого, женоподобного, но он стал плохо кашлять. Теперь был им не нужен – с сукровицей на губах. С комковатой выкашливаемой слизи на подбородке. Охрана пинками гнала его, а он все жался к их мискам. (Боялся, что лагерники отнимут пайковый хлеб. А потощай теперь малость, как все мы!) Афонцев и Деревяго тогда пожалели его: отделили ему место на нарах.

Кремнистая белесая осыпь, топот ног и общий глуховатый галдеж в колонне – это потому, что туман. Шли рядом. Туман вдруг напознал и прятал лица зеков, напряженные скулы.

Уже более года у зеков осуществлялась своя тайная и горделивая затея – выбить вблизи лагеря на камне некое слово. На скале. Чтоб издали видеть. Буквы на камне тем и хороши, что сделаны своим трудом и что не вписываются в обрыдлый лагерный распорядок. (Как не вписывалось, скажем, тайное собирание сухарей. Или самодеятельный концерт к Первомаю. Когда по-тихому сочиняли стихи о вожде.) Отчасти, конечно, и вызов. Слова не значили. Даже самые простые. Разве что шум, сморчок, хрип, звук беззубого вонючего рта. Потому, быть может, и важным (и греющим вялые честолюбия) казалось выбить слово киркой и зубилом. Потому и ждали день за днем свою первую букву. Зеки как зеки. С каждой выбоинкой на камне они, мол, теперь мало-помалу куда-то двигались. Продвигали куда-то в вечность свои сраные жизни. Свои застывшие серенькие судьбы.

За час-полтора до удара о рельсу трое «больных» бросали лопаты и отпрашивались с насыпных работ. Выкраивали (выпрашивали) у охраны эти полтора часа и уходили будто бы в лагерь, а шли к скале. Дело небыстрое. Но для зеков это и лучше, что небыстрое! День ото дня. Неделя... Месяц... А жожакам неспешность дела помогала держать зековскую массу заодно. Само слово от большинства пока что утаивалось. (Меньше опасности проболтаться.) Очень возможно, что о потаенной работе лагерное начальство уже знало. Не поощряло, конечно. Но смотрело сквозь пальцы. Их тоже устраивала занятость зеков чем-то определенным и понятным. Трех-четверых отпускали без конвоя. Из этого лагеря убежать нельзя: все знали.

Возможно, начлаг со спокойным интересом наблюдал их ударный труд. Посматривал в бинокль. Разглядывал, как там, высоко на скале, висит на веревках и болтается куклой (если ветер) один из его стриженных дурачков. Зек с киркой. А еще два дурачка, сидя на самом вершине скалы и побагровев лицами, удерживают зека внагиш каждый своей веревкой. Пусть их! Пока, собственно, выбили одну букву, и ту не до конца.

На насыпи сразу же свалился дохляк Тутушин – зек помирал. Никто к нему не кинулся. Корешей нет. Охране тоже начхать. А до перекура рано. Оттащили в сторонку. Все же по-человечески. Ведь подышающий на виду всех только раздражает. Лежал с раскрытым ртом. Синегубый... Прервали работу, но никак не из-за Тутушина. Лопаты в землю торчком. Это их спятившего жожака опять подхлестнуло. Заговорил! Не только же начальству и не только охране – пишите на могилах и нам, зекам... Имена! Даты! Каждому! – орал Коняев. Спятил. Он даже грозил новым побегом! Но вот тут зеки уже загудели. Не подставляй нас, Конь. На фиг нам твои таблички! Возьми их все себе!.. Урежут хлеб, картошку. Пол-лагеря вымерзнет за будущую зиму!.. Они не оглядывались (не посматривали, как там их упавший), а Тутушин все валялся. Все дергался, никак не помрет. Но хоть глаза не мозолил. В сторонке. Все как у людей... За шумом и голосами его хрипы не слышались.

Опер, подойдя, ударил (легонько ткнул) жожака в грудь:

– Заткнись, Конь. Дошечки-таблички... Ты-то, неугомонный, чего хочешь?

Коняев осекся.

– То-то, – хмыкнул опер.

Коняев переморгал что-то личное. Как всякий старый псих... С фиолетовыми пятнами на щеках. Но тут же завопил оперу в лицо. Он прямо завыл – не думай, сука, что быльем порастет. Таблички и задним числом на могилках ставят. Вот так! Посмертно! Табличка к табличке! Он, Коняев, не зря же запоминал и всех помнит.

Тутушин как раз захрипел отходную. Громко. Зеки и тут не оглянулись. (Недовольные... Мешал слушать.) А Конь, дались ему могилки, уже опасно и нагло надвигаясь на опера, продолжал вопить свое.

За десятилетия он, может, и проскочит памятью кого из умерших. Он не контора. Не ангел, если кое-чью душу упустит! Но зато весь прошлый год... И эти полгода... Вплоть до лета сидят у него в голове. В памяти. Как гвозди в башке! Будьте уверены!.. И старый вожак стал выкрикивать поименно:

– Аввакумов, Арье, Бугаев, Буражников, Бахтин, Венедиктов, Грелкин, Гусаров, Деев, Еманский, Жижкин, Заикин, Зубарев... – Весь список.

Все продолжал и продолжал. Он даже не запинаясь. Трехун-Заизбенный помер с дизентерией, даже его легко выговорил.

– Рабинович А., Рабинович И., Разуваев...

Зеки, со своей давно скисшей памятью, разинули рты. Потрясенные – сколько же их померло! Каждый помнил ну пять, ну шесть. Каждый своих. Надо же сколько!.. Для нас мертвые куда-то исчезали. Их смывало дождем. Это ж надо, так всех упомянуть! Неужто всем жмурикам теперь таблички?!.. Были потрясены цепкостью, настырностью памяти. Зеки восхищенно смотрели – вот он! вот пахан! не чета гондону Струнину из барака-два!.. Но если б он еще и не орал по ночам! Ведь спятил, сука...

Не перебивали его. Конь доорал весь список.

За эти новые полгода (вплоть до августа) померли Ачунин, Братков, Васильев Д., Васильев С., Гришаев, Грушин, Драгунский, Елмачов, Жихарев, Иванов Н., Иванов М., Кистяков, Крамаренко, Мумлаев, Обломовцев, Примайский, Ражков, Сухарев, Трехун-Заизбенный (брат прошлогоднего), Тропаревский, Хаснутдинов, Хренов, Цицаркин, Ямцов.

## 2

Тропу охрана угадала, так что собаки обнаружили запашок беглецов в первом же долинном лесу. Участвовал к тому же опер, читавший примятую траву как газету. Лучше любой сторожевой... Мокрый Енька выполз из росной травы, хныкал. С одним пойманным уже было решили вернуться в лагерь. Уже возвращались... Когда опер вдруг указал рукой, и собаки кинулись к старому, почти мертвому дубу с огромным дуплом. Охранники сначала постреляли всласть, пробивая насквозь кору там и здесь. Дуб изрешетили. Стали кричать: «Эй! Выходь! Руки подыми – и выходь!»

Выходить было некому. Сами и вытащили Ваню из дупла. Грудь была прострелена дважды. С лица сорван пулей нос.

Подробности побега узнались в зоне уже к вечеру. За Ваню Сергеева почему-то злобились бывшие урки. Филя, сплевывая, кривился. С неким намеком. Смерть зека – тьфу, повседневна, но смерть беглого зека блатных язвила:

– Ваня мужик солидный. А поймали его слишком быстро!

Дураковатый зек Колесов, бывший врач, рассуждал вслух, расчесывая свой шрам на голове:

– В говядине много железа. Дополнительная энергия для побега. Эритроциты. Гемоглобин...

Тому лет пять, как побоями у Колесова вышибли из головы все, кроме отдельных, заученных в студенчестве фраз. На него заорали:

– Умник сраный! Лопатой, лопатой работай!

И Колесов тотчас ускорил движения рук. Виноват-с. Он ведь строил насыпь этой лопатой. Каждый из них строил насыпь. (Так было написано на лозунге в зоне. Белым по красному.) Их приводили сюда день за днем, помимо банных.

Афонцев такой же лопатой бросал землю с машины – через открытый задний борт.

– Эй! Гляди же, сука! – заорал солдат, сучавший внизу возле грузовой машины.

И передернулся на месте, встряхивая добротными сапогами. Афонцев, похоже, швырнул землю прямо ему в ноги. Жаль, не в пах.

Километр за километром насыпная земля уходила в просеку, надвигаясь тупым рылом на серенькую тайгу. Насыпь для будущей дороги. Она была так же малопонятна, как красно-белый лозунг. Насыпь метила куда-то слишком далеко. Непостижимо далеко для голодного зека.

– Гляди...

Другая машина, уже без земли, торопилась пройти мимо разгружаемых. Едва не зацепила на повороте соседнюю. Не долбанула ее ржавый борт...

– Гляди же, сука! – заорал солдат теперь на шофера.

– А, заткнись, Жора! – весело крикнул шофер.

Такой же, по сути, солдат, шофер, в отличие от присматривающего солдата, был улыбочив. Сидел с открытой пастью. Может, говядина (много железа) и впрямь уже поставляла гемоглобин. А с ним энергию... Афонцев видел сегодня не менее пяти смеющихся солдат.

После разгрузки тотчас послали на тачки. Язвенник Деревяго старался, чтоб земли в его тачке поменьше. Чтоб надрыв не сразу. Первую тачку всегда усмотрят и всегда прикрикнут. И потому Афонцеву было катить первую – самую видную. Афонцев и покатил. Афонцев не спорил. Тем более не сейчас, когда Деревяго хватался за кишки.

– Ты б не курил, – сказал он Деревяге.

Сам Афонцев покурил всласть. И тоже, как ему казалось, толкал сегодня тачку веселее (говядина?). Он даже поигрывал корпусом тачки вправо-влево. А нагрузил-то горой!

Доски, выложенные узко и состыкованные, вели от грузовиков к правому скату насыпи.  
– Давай, давай! – поощрительно заорал солдат. Этот сторожил на краю насыпи.

Собака взлаяла – тоже реакция на ускоренное, пусть даже с тачкой, движение зека. И у собак был сегодня хорош харч: теплый суп с битыми костями. Тачка вдруг сделала угрожающий крен, Афонцев напряг плечи, руки... и тут ему помог солдат охраны. Метнувшийся, придерживал вес тачки сбоку... Афонцев впервые за годы почувствовал рядом плечо охранника. Что за чудеса? (Сколько за эти годы было опрокинуто тачек, поломано рук и ног.) Случайность? Охранник как-то дурацки засмеялся.

Надо или не надо было теперь увязывать: крики Коня... кусок мяса... Ваня, дупло дуба, отстреленный нос. Отучившись связывать, мысль отучилась вникать. До этих случаев год за годом ничего не происходило. Стояла та бессобытийная тишь, когда в лагере, казалось, не двигался никто и ничто – ни даже время... В тот обед тихо спятивший Клюня, сидя рядом с Афонцевым, бормотал:

– Она. Ей-ей: она... Гы-гы-гы.

Кусочек говядины чуть всплыл в тарелке. Клюня ложкой мягко притронулся к нему. Старый одноухий Клюня сам себе дал зарок не произносить слова «воля». Чтоб не спугнуть. А прежде клялся волей по каждому пустяку... Боясь слова, он его замалчивал, зажевывал. Афонцеву нравилось это неназванное значение. Нравилась осторожная неточность. На другой день баланда, привезенная на насыпь, не была сытной. Под ложкой не колыхнулось. Баланду привозили сюда в котле приостывшую.

– Афонцев! – И вот его уже дернули: отрядили хоронить Ваню Сергеева. Кто ж даст зеку додумать?.. Опер кликнул – поди, поди, Афонцев, поможешь! Там-то копать неглубоко!..

Убитого беглеца слишком далеко (да и тяжело) нести с места поимки. Да и зачем нести?.. Для учета важно не того ли зека убили, а того ли теперь зарывают в землю. И потому близ лагеря хоронят немного. Что принесут. Обычно голову и правую руку, чтобы сверить отпечатки пальцев. Зато и места всем вдоволь. Кладбищенский пятачок по-сибирски просторен, а кустарник (под огромными соснами) то ли вырубил, то ли сам уже расступился.

– Сюда! Сюда! – Охранник приготовился. Рядом с неглубокой могильной ямой.

В присутствии опера поднял мешок. Вытряхнул сначала на траву, чтоб видеть. Голова Вани (безногая, с дырочками) выкатилась сразу. Рука на миг застряла, стала в мешке углом. Но и руку вытряхнули.

Афонцев, вырвавший яму, курил. И тотчас его цепкий, стороживший глаз заметил на рукаве фуфайки вздутие. На принесенной сюда Ваниной руке. Там что-то таилось. Ага! Афонцев, будто бы забирая лопату, шагнул. Поднагнулся ближе и ловким разом вытащил из-за рукавной закатки кисет.

Зек не обдумывает. Но сообразить успеваешь... Афонцев говорил и уже как со стороны слышал свой с просительным нажимом голос: мол, кисет-то не Ванин, а Енькин! Надо бы и отдать Еньке. Из рук в руки, в лазарете!

Торопясь и не сводя глаз с добычи (зажатой в своей руке), Афонцев объяснял оперу (тот стал внимателен). Махорка же. Махра Енькина... А Ваня редко смолил. Не курил он!

– Я и отдам Еньке, – сказал охранник.

Но Афонцев взвился:

– Хера ты отдашь! А вот я отдам. Наше – это наше. Разве не так? – И, цепкий, сразу сунулся просящим лицом к оперу. За поддержкой.

Тот кивнул – мол, позволяю. Снесешь кисет. Но без болтовни.

Властный знает, когда момент силы. Умеет дать прочувствовать. Он потому и властный, что иногда позволяет, разрешает.

Возвращались напрямик через зековские безымянные холмики. Вот бы где покричать Коно... Уже и не холмики. А стершиеся под травой бугорки-намеки.

Зона! – и сразу же охранник Афонцева в почку. Ткнул прикладом. Памятлив! Как раз прошли мимо хозблока, святое место. Наиболее охраняемая пядь земли в заброшенных лесных лагерях... Выступил угол. Барачный торец, где зарешеченная комнатка.

Вонь хлорки. Афонцев услышал, как закашлял забитый Енька. В первую минуту встречи он сразу кашлял. Глаза туберкулезника силились что-то выразить, но только слезились. Не выразили... Разве что вечную боль пидара. Смотрел неотрывно. Лежа он протянул за кисетом худящую руку.

Афонцев с оглядом на конвойного (не могу же не сказать корешу хоть что-то) спросил:

– Баланду тебе дают?

Тихо... Афонцев строго посверлил его взглядом. И переспросил:

– Баланда горячая? Кормят?.. Ты ж больной. Говядинку видал?

Енька замотал головой:

– Говядинку?.. Не было.

– А у нас была. У всех была.

Конвойный замахнулся – молчи, морда! щас врежу!.. Но Афонцев, прикрыв голову, уже замолчал. Сделал свое. Сказал.

Тем часом зеков выводили из барака.

Собаки легко узнавали того, кто общался с беглецами последним. Умели учуять. Того, кто шел рядом, терся или жевал хлебушек бок о бок. Однако считалось, что тем самым собаки дознаются, кто был с беглыми в молчаливом сговоре и, скорее всего, им помогал. Дали понюхать Ванин рукав. Дали нательную вонь с майки хилого Еньки. Всех выстроили. Охранники передернули затворами, чуть что – наготове. Строй притих. Спросили для порядку, не признаются ли. Не скажет ли кто на себя сам – и после минутного молчания спустили двух собак.

Каждая выхватила себе по человеку. Выволокла зека к охранникам и рвала на глазах у всех, перед строем. Оба зека катались, не допуская собачьи клыки к животу и к горлу. Оба взвизгивали с каждым глубоким укусом. Расправа на четверть часа. Охрана знала, что собаки рвут не тех. Но кого-то же порвать за побег надо.

С губ у собак пошла пена.

– Сидеть! Сидеть!.. Фу! – Охранники, рукавицы на руках, кинулись, чтобы унять. Хватили собак за ошейники.

Обоих порванных унесли. Один из них молчал, однако же булькал кровью (не уберег горла?). Зато второй рваный взывал со стонами, поминал – Господи! Господи!..

– Вот и Боженьку вспомнил! – с привычной злобой сказал кто-то из зеков.

За полтора часа до окончания работы четверо, на худой конец трое, уже постанывали и отпрашивались. Делали себе рвоту – вот-вот грохнутся наземь. С упавшим и блюющим (но никак не умирающим) сколько возни! Их отпустили, постращав лишь на случай ночи в тайге. Без криков, без мата и без тыканья кулаком.

Впервые они так необруганно ушли. Надо же, какая удача! Их лихорадило. Радовались... Это она, буква! Зеки мнительны и дорожат всяким совпадением, если оно в их пользу. Даже нелепый побег... Даже жесткий, плоско порезанный кусок мяса (копченое, с дымком!) виделся им уже как следствие. Уже как слабинка вертухаев и оперов. Пошла полоса!.. Казалось, события (пусть мелкие) уже пытались схватиться, цепляясь одно за одно. Время пыталось превратиться в хронику.

Афонцеву привязка к букве казалась натяжкой. Но не спорил. Возможно, как начало... Возможно, начало таким и бывает... Люди ищут (и находят) причину удач. Иначе человек

теряется. К чему перебор сотен разных причин, если в одиночку всякая из них (присмотрись) окажется еще нелепее. Пусть буква! Что-то в ней есть. Что-то в ней находят. И несомненно же, что буква не рознила, а крепила зеков вместе: держись, падлы!

Буква «А» нависала уже с предгорной тропы. Четверо «слабых и приболевших» зеков взбирались по тропе горбясь, но стоило поднять глаза – буква выстреливала им в лица. Прямо со скалы... Четверка заторопилась. На подходе к вершине уже стояли отдельные картинные сосны. Лес иссяк. И макушка горы светлела пролысинкой.

Вышли на солнце. На закат. Самый хилый из четверки, заяц Гусев, тяжело дышал. Лоб, лицо, шея в каплях и струйках пота.

– Б-быстро шли, – сипел Гусев, оправдываясь. И прося, чтобы дали передохнуть.

Ему дали – но чтоб за сторожа, поглядывай в оба.

Извлекли припрятанную кирку. Из-под высохшего горного куста... Кирка укороченная и нетяжелая (под одну бьющую руку). Крепкий молоток. Несколько зубил. Все приворованное и давно уже принесенное сюда на себе, под одеждой. Первым на веревке спустили Маруськина, ловкого и вмиг обвязавшегося красивым узлом. Спуск – минута. Уже висел. Уже оттуда давал знать голосом: «Чуток пониже!.. А ну еще чуток!» Афонцев и Дервяго, державшие концы, ослабили веревку. Стравили ему еще метр. «Порядок!» – донесся голос. И тут же звуки кирки, бьющей по плоскому камню. Первые, пока еще скользкие удары.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.